

[Письма о морали]

Письмо 1

Услышьте, нежная и достойнейшая подруга, голос того, кто Вас любит; Вам ли не знать, что им говорит отнюдь не низкий соблазнитель; и если некогда мое сердце попало в тенета страсти, за которую Ваша отповедь заставила меня покраснеть, то уста мои, напротив, воспротивились искушению оправдать забывшееся сердце; ум, изощренный в софизмах, не помог ошибке обернуться правотою; смирившийся порок умолк перед чистым именем добродетели; речи мои не оскорбили ни веры, ни чести, ни святой истины; удерживаясь называть мои заблуждения честными намерениями, я тем самым не дал благородству покинуть мое сердце, я открыл его для уроков благоразумия, кои Вы соблаговолили дать мне; теперь настал мой черед, о Софи, пришла моя пора отблагодарить Вас за Ваши заботы и за то, что Вы сберегли мою душу для добродетели, коей так дорожите; пришла моя пора обогатить Вашу собственную душу добродетелями, дотоле Вам неизвестными.

О, как я счастлив тем, что ни перо мое, ни уста никогда не продавались для лжи и кривды: за это я сегодня почитаю себя достойным стать подле Вас глашатаем истины.

Вспоминая обстоятельства, в которых Вы просили у меня правил морали, дабы руководствоваться ими, я хорошо вижу теперь, что просьба эта была внушена самой возвышенной заботой о добродетели и что в том отчаянном положении, куда завела меня слепая страсть, Вы несравненно больше пеклись о моем воспитании, нежели о своем собственном. Только закоренелый злодей способен внушать добрые правила другим, сам втаптывая их в грязь, и подгонять мораль под свои страстишки; но Вы, утомившая меня своей дружбою, прекрасно поняли, что, хотя сердце мое и подвержено слабостям, зато душа закрыта для зла. Итак, пытаюсь выполнить сегодня почетную задачу, к коей Вы меня обязали, я всего лишь почтительно

возвращаю Вам долг благодарности. Дар добродетели стал для меня еще дороже с тех пор, как я получил его от Вас.

Подчинив долгу и рассудку чувства, которые Вы же пробудили, Вы тем самым проявили наивысшую, наиблагороднейшую власть, какую Небеса даровали когда-либо красоте и мудрости. Нет, Софи! Любовь, подобная моей, могла покориться лишь себе самой; Вам одной, кроме Богов, дано было право разрушить свое же творение, и лишь Вашим добродетелям дозволено врачевать раны, нанесенные орудием Вашего очарования.

Но не думайте, что сердце мое, очистившись, стало чужим Вашему; слепая любовь уступила место тысяче ясных чувств, кои вменяют мне в сладостную обязанность любить Вас всю мою жизнь; Вы стали мне стократ дороже с тех пор, как я перестал обожать Вас. Желания мои, вместо того чтобы остыть или обратиться на другой предмет, напротив, стали еще пламеннее, когда сделались чистыми. И если некогда тайною их целью было посягательство на Ваши прелести, то отныне я раскаялся в своем безумстве и стремлюсь лишь к одному: помочь Вашей душе достичь совершенства, а моей — оправдать, если возможно, все чувства, коими она пылала для Вас. Да, будьте совершенством, каким лишь Вы стать способны, и я буду стократ счастливее, чем если бы обладал Вами. Пусть усердие мое вознесет Вас на такую недостижимую высоту, что самолюбие исцелит меня от былых унижений и хоть сколько-нибудь утешит в любовной неудаче. Ах! если все усилия моей дружбы поспособствуют Вашим успехам, думайте иногда о том, чего я вправе ожидать от сердца, которое так и не смог покорить!

После стольких потерянных дней, после ненужной погони за эфемерной славой, после бесплодных усилий растолковать людям истины, к коим они безнадежно глухи, я, наконец, обрел подлинно полезное занятие: я буду заботиться о Вас так, как Вы того требуете; о да, я займусь Вами, я буду воспитывать в Вас чувства долга и добродетели, Вам подобающие, я найду средства довести до совершенства Вашу счастливую натуру. Я более не сведу с Вас глаз: поистине, проводи я весь свой век в поисках приятного занятия, я не смог бы найти дела, более любезного моему сердцу, чем то, к которому Вы меня склонили.

Ни один еще проект не слагался в столь счастливый час, ни одно предприятие не сулило столь блестящего успеха. Все, что могло воспламенить во мне отвагу и подогреть надежды, слилось с чувством самой нежной дружбы и возбудило весь мой пыл и усердие: путь к совершенству лежит перед Вами, препятствий нет, природа и судьба столь щедро одарили Вас, что какая-нибудь малость, забытая ими,

будет достигнута простым усилием воли, а сердце Ваше служит мне порукою во всем, что касается добродетели. Вы носите знаменитое имя, коему состояние Ваше служит опорой, а достоинства придают славы; Ваши нежные заботы о детях сделают Вас впоследствии счастливейшей из матерей; супруг Ваш, принятый при дворе, отличившийся на войне, сведущий в делах, упивается покойным и неизблемым счастьем, дарованным ему в браке. Вам не чужда склонность к удовольствиям, но более нее свойственны умеренность и скромность; Вы обладаете достаточной привлекательностью, чтобы добиться успеха в свете, достаточным умом, чтобы его презирать, и талантами, которые легко заменят Вам его; Вам повсюду открыт доступ, и везде Вы будете на своем месте.

Но и этого недостаточно, — тысячи других женщин пользуются теми же преимуществами — и остаются посредственностями. Вам же достались в дар качества несравненно более драгоценные. Быстрый и проницательный ум, искреннее и чувствительное сердце, душа, проникнутая любовью к прекрасному, и тонкая способность понимать красоту, — вот залог надежд, которые я возлагаю на Вас. Разве это я пожелал, чтобы Вы стали лучшею из лучших, достойнейшею из достойных, наиважаемою из уважаемых? Нет, того захотела сама природа, так не обманите же ее надежд, не пренебрегите ее дарами! Прошу Вас только об одном: всегда следуйте зову вашего сердца и поступайте так, как оно Вам подскажет. Слушайте меня, о Софи, но лишь тогда, когда мой голос зазвучит в унисон с голосом Вашего сердца.

Среди даров, полученных Вами от богов, осмелюсь ли назвать верного, преданного друга? Ведь он есть у Вас, не так ли? Но ему мало любить Вас такою, какая Вы есть: он горит neodолимым, чистым желанием увидеть Вас такою, какою Вы обещаете стать. Его жадный взор следит за каждым Вашим шагом, он видит Вас в прошлом, настоящем и будущем, ему хотелось бы навсегда запечатлеть и укрыть Ваш образ в тайниках своей души. Он не ведает иного наслаждения, как без конца думать о Вас, и самое горячее его желание — превратить Вас в такое совершенство, чтобы целая вселенная прониклась к Вам тем же благоговением, какое питает он сам. В то время как завершается мой короткий жизненный путь, я чувствую, как новый пламень охватывает мою душу, как вливается в меня новая жизнь, которую употребляю я на то, чтобы руководить Вашою. Разум мой озарен пламенем сердца, дыхание гениальности осенило меня. Мне чудится, я послан небесами на землю, дабы завершить самое удачное их деяние; поистине, Софи, заботы, коим я посвящу последние дни, достойно увенчают убогую мою молодость, ежели

Вы соблаговолите стать моей ученицей; все, что я сделаю для Вас, вознаградит меня за пустую тщету целой жизни; я и сам стану лучше, стремясь показать Вам пример добродетелей, к коим любовь я намерен внушить Вам.

Не беда, что мы перестали видеться, — мы не перестанем любить друг друга, я это чувствую, ибо наша взаимная привязанность основана на отношениях, коим никогда не суждено умереть. Тщетно судьба и злые люди разлучают нас: сердца наши вечно будут биться согласно; уж коли они так хорошо понимали друг друга в тот миг, когда обе наши страсти столкнулись в жестоком противоборстве, внушая нам каждая свое, чего только не достигнут они ныне, объединенные общей благороднейшей целью.

Вспомните о прелестных днях того дивного лета, столь краткого, но подарившего нам столько долгих воспоминаний. Вспомните наши уединенные прогулки: как часто мы совершали их на тенистых склонах холмов, где плодороднейшая в мире долина расстилалась пред нашим взором все богатства природы, как бы желая отвратить нас от фальшивого блеска света. Вспомните о чудесных беседах, когда, поверяя друг другу невзгоды, мы взаимно утешали взволнованные наши сердца; когда целебный покой Вашей непорочности усмирят бурю самых пламенных чувств, когда-либо изведанных мужчиной. Не будучи соединены никакой связью, не будучи сжигаемы одним огнем, мы, тем не менее, были охвачены неведомым, но общим жаром, мы вместе согласно вздыхали по непознанным сокровищам души, ибо и созданы были для того, чтобы владеть ими вместе с Вами. О, не усомнитесь, Софи, желанные эти сокровища были те самые, которые я намерен сегодня сложить к Вашим ногам, та самая склонность ко всему, что есть на свете доброго и благородного, — именно она связывала нас друг с другом столь тесно, согревая чувствительные наши сердца, придавая двойное очарование всякому предмету нашего общего восхищения. Изменились ли мы с тех пор? Не достойны ли мы жалости, если смогли позабыть столь дорогие сердцу минуты, если перестали вспоминать с умилением нас обоих, сидящих под сенью дуба, Вашу руку в моей, Ваши нежные глаза, устремленные ко мне и проливающие слезы более чистые, чем небесная роса?! Без сомнения, человек низкий и развращенный мог бы, не разобравшись, осудить наши беседы в меру собственной испорченности, но беспристрастный взор высшего, вечного судии, верно, был в те дни милостиво склонен к двум чувствительным душам, одинаково дружно стремящимся к добродетели и в нежных речах изливающим те чистые чувства, что сам же он вложил в нас.

Вот что сулит мне успех моего предприятия, вот что дает права

осуществить его. Изливая Вам мои чувства, я менее всего стремлюсь преподать Вам мои жизненные правила, но сперва хочу изложить мой символ веры, ибо кому же и узнать мое кредо, как не той, которая больше других знает мою душу и сердце?! Без сомнения, наряду с важнейшими истинами, коим Вы захотите найти применение, Вы встретите и неумышленные ошибки, но прямота Вашего сердца и здравомыслие уберегут от них Вас и излечат меня. Исследуйте, сравнивайте, выбирайте, благоволите обосновать мне Ваш выбор; я желаю Вам извлечь столько же пользы из этих писем, сколько их автор ожидает для себя от Ваших размышлений. И если я иногда невольно возьму поучительный тон, то Вы-то, Софи, отлично поймете, что сей наставник — Ваш покорнейший ученик; кто знает, сколько уроков надобно мне будет дать Вам, дабы отблагодарить за те, что я получу от Вас.

Ежели мои письма возымеют то действие, что хоть немного сблизят нас и пусть на расстоянии, но возобновят те сладостные беседы, которые украсят отмеренные мне дни и явятся последней моею отрадою, то одно это послужит наградою за весь труд остатка моей жизни. Среди невзгод и скорбей я утешаюсь единственной мыслью, что, когда меня не станет, я все же чем-то останусь для Вас; я надеюсь, что письма мои займут подле Вас мое место, и Вы будете перечитывать их с тем же удовольствием, что беседовали со мною; даже если они не содержат новых откровений, то, по крайней мере, не дадут умереть в душе Вашей воспоминанию о самой нежной дружбе, какую знала земля.

Письма эти не подлежат огласке, и нет нужды заверять Вас, что без Вашего согласия они никогда не увидят свет. Но, если обстоятельства позволят Вам когда-нибудь вынести их на людской суд, пусть чистота моей привязанности к Вам оправдает публичное ее оглашение. И, хотя ни Ваше, ни мое имя ни разу не промелькнуло в строках этого письма, оба они, тем не менее, не ускользнут от пронизательности тех, кто нас знал; разумеется, я буду скорее горд, нежели уязвлен, их догадками; заявив о том почтении, которое питал к Вам, я завоюю большее почтение к себе. Что же касается Вас, любезная Софи, то, хотя мои восхваления мало что добавят к общему хвалебному хору, я все же мечтаю о том, чтобы весь мир склонился перед Вами в восхищении, чтобы все увидели то, чего я ожидал от сокровищницы Вашей души; я хотел бы наделить Вас бóльшим мужеством и силою, дабы Вы не обманули моих надежд и ожиданий толпы. Вам скажут, что я никогда не устаивал своей нежной дружбой и почтением никого, а в особенности женщин, — что ж, пусть любопытная толпа узнает ту, которая столь блестяще завоевала и

то, и другое. Я поручаю Вам мою славу, о Софи, о п р а в д а й т е ее, если сможете, во мнении порядочных людей. Сделайте так, чтобы однажды, взглянув на Вас и вспомнив обо мне, можно было сказать: «Да, этот человек любил добродетель и был ее достоин».

Письмо 2

Цель жизни человеческой есть счастье человека, но кому из нас ведомо, как его достичь?! Не зная твердых правил, не видя ясной цели, мы бросаемся от желания к желанию, и те, что мы в конце концов удовлетворяем, дают нам так же мало счастья, как и несбывшиеся. Ни в чем мы не постоянны: ни в образе мыслей, неглубоком и беспорядочном, ни в страстях, нестойких и противоречивых. Жертвы слепой непоследовательности сердца, мы наслаждаемся свершением наших желаний, не подозревая о том, что за ним-то и последуют лишения и невзгоды; все, чем мы владеем, есть лишь обратная сторона того, чего мы лишены, и, не в силах узнать, как же следует жить, мы все умираем, так и не познав жизни. Единственное средство избавиться от ужасного бремени неведения — это отодвинуть его за пределы земного существования, освободиться от всех своих страстей, изучить самого себя, осветить самые потайные глубины своей души светом истины, постараться один раз и навсегда постичь все, что думают, все, что чувствуют, все, во что верят и во что должно верить, и самому верить и чувствовать лишь в тех границах, какие очерчены человеческими возможностями. Вот, любезная моя подруга, исследование, которое я предлагаю сегодня Вашему вниманию.

Но что мы будем обсуждать, о Софи, чего уже тысячу раз не обсудили до нас другие? Все книги толкуют нам о высшем благе, все философы до тонкостей разобрали его для нас, каждый готов преподать окружающим искусство стать счастливым, — ни один из них не стал счастливым сам. Окунувшись в необъятный поток человеческих рассуждений, Вы научитесь лишь одному: разглагольствовать о счастье, не зная его, судить о жизни, не живя; Вы запутаетесь в метафизических изощрениях, погребете себя под сложными нагромождениями философских предпосылок; сомнения и противоречия заведут Вас в тупик, и Вы, желая просветиться, кончите полным недоумением. Метод сей состоит в том, чтобы рассуждать решительно обо всем на свете, блистая речами в избранном кругу; он, этот метод, порождает ученых, остроумцев, говорунов, спорщиков, всех тех, кто счастлив на людях и несчастен в четырех стенах. Нет, милое дитя мое, предлагаемое мною исследование не даст Вам знаний напоказ, которыми пускают другим пыль в глаза, но оно наполнит Вашу душу

всем тем, что действительно составляет человеческое счастье; оно даст удовлетворение не только окружающим, но и Вам самой; оно не подарит Вас пустым краснобайством, но обогатит сердечные чувства. Предпринимая его, следует более доверять зову природы, нежели голосу рассудка, и, не толкуя с напускным пафосом о мудрости и счастии, просто становиться мудрыми для себя и счастливыми также для себя. Вот философия, к которой я желал бы Вас приобщить; мы будем беседовать о ней в тиши Вашего кабинета. И ежели Вы сердцем почувствуете мою правоту, мне нет нужды доказывать ее, я не стану учить Вас разрешать противоречия, — я лишь попытаюсь рассуждать таким образом, чтобы Вы не нашли их в моих речах; я гораздо более доверяю Вашей доброй воле, нежели собственным аргументам, и, не прибегая к школьным правилам обучения, я призываю Ваше сердце в свидетели справедливости моих слов.

Взгляните, любезная моя подруга, на эту вселенную, бросьте взгляд на этот театр ошибок и несчастий, заставляющих нас оплакивать горестную человеческую участь. Мы живем в век философии, в век разума. Свет всевозможных наук воссиял нынче над нами, освещая путь в темном лабиринте человеческой жизни. Выдающиеся умы всех времен объединили усилия, дабы вразумить и наставить нас, библиотеки открыли двери широкой публике, неисчислимые коллежи и университеты преподают нам чуть не с младенчества опыт и мудрость, накопленные человечеством за четыре тысячи лет. Бессмертие, слава, даже богатство, а нередко и почести — вот награда самым достойным за их искусство и умение просвещать и наставлять человечество. Все способствует обогащению нашего разума, все помогает каждому из нас развивать и совершенствовать наши природные данные. Так сделали ли мы лучше и мудрее, больше ли узнали о смысле нашей короткой жизни, о том, что ждет нас в конце ее, поняли ли, в чем состоит наш основной долг, в чем заключается подлинная ценность человеческого существования? Взгляните, чем обернулись для нас наши мнимые познания: одними распрями, ненавистью, подозрениями, сомнениями. Каждая секта считает себя единственным глашатаем истины. Каждая книга содержит исключительно верные предписания мудрости, каждый автор выставляет себя лучшим знатоком того, что есть благо. Один доказывает нам, что не существует тела, другой отрицает существование души, третий не видит связи тела с душою, четвертый полагает человека животным, а пятый заявляет, что «Бог есть зеркало». Не осталось такой глупости, с какою не выступил бы очередной признанный мудрец, не осталось ни одной очевидной аксиомы, не опровергнутой кем-либо из них; лишь та правда считается хорошею, коей можно отличиться среди

прочих: люди предпочитают быть сторонниками нового, нежели защитниками истинно правдивого.

Что ж, пусть они восторгаются, сколько угодно, расцветом искусств, числом и значением своих открытий, мощью и величием человеческого гения: стоит ли поздравлять их с тем, что они познали целую вселенную, кроме самих себя, и изобрели все искусства, кроме одного — искусства быть счастливым?! «Но мы счастливы! — восклицают они уныло, — взгляните, сколько дорог к счастью мы открыли, сколько удобств, сколько наслаждений, неведомых нашим предкам, мы познали!» И верно, вы познали изнеженность, зато древним было ведомо довольство; вы умничаєте — они были разумны; вы благовоспитанны — они были человечны; все ваши улады проходят у вас сквозь пальцы, — все их радости были в них самих. Да и какой ценою немногие избранные покупают у большинства те изысканные забавы, коим столь неистово предаются? Богатство городов повергает селения в нищету, голод и отчаяние; единицы среди нас становятся счастливее, а тысячи вокруг них достойны сострадания. Возрастающая роскошь кучки богачей обездоливает толпы народа. Так что же это за варварское счастье, вскормленное несчастьями других?! Скажите вы мне, чувствительные души, что это за счастье, если его возможно купить за деньги?!

«Просвещение облагораживает и смягчает нравы, — утверждают мудрецы, — наш век менее жесток, мы льем меньше крови, чем встарь». О неразумные, сделайте лучше так, чтобы не лилось столько слез, как нынче; те несчастные, коих принуждают влачить жалкую жизнь, полную лишений, — разве не предпочли бы они один раз отдать ее на эшафоте?! Вы стали добрее, но стали ли вы менее несправедливы, менее мстительны? И разве в наш век добродетель подвергается меньшим гонениям, разве власть меньше тиранствует, разве народ меньше угнетается, разве меньше стало преступлений и злоумышленников, разве тюрьмы стали свободнее от них? На место пороков, свидетельствующих о свирепой отваге, пришли гадкие пороки мелких душонок. Ваша мягкость отдает низостью, это мягкость трусов, вы мягко и потаенно угнетаете тех, с кем вам следовало бы встретиться в открытой схватке. И если вы менее кровожадны, то это не заслуга ваша, а признак слабости, то есть еще один ваш порок.

Искусство умозаключений не есть достоинство ума, — напротив, чаще всего ум им помеха. Ум есть способность соотнести свойства нашей души с природою вещей и с их отношением к нам. Умозаключение же есть искусство сравнивать известные истины, дабы вывести из них новые, дотоле неизвестные. Но это искусство отнюдь не учит нас узнавать эти известные истины, служащие основой для построе-

ния новых, и когда мы пытаемся заменить их своими собственными убеждениями, страстями, предрассудками, то вместо того, чтобы просветить, оно окончательно оглушает нас и, не воспитывая души, лишь раздражает ее, а, вместо того, чтобы совершенствовать ум, вовсе разрушает способность здраво мыслить.

В цепи рассуждений, на которых строится система, одна и та же фраза может прозвучать в сотнях различных, почти неуловимых оттенков, ускользающих от внимания философа. Оттенки эти, множась, изменяют фразу до полной неузнаваемости, притом, что философ, даже не заметив этого, даст одному явлению название другого, вследствие чего увеличит число ошибочных суждений. Этот недостаток вполне присущ духу той единственной системы, которая ведет к великим принципам, и состоит в том, чтобы всё всегда обобщалось. Изобретатели обобщают всё, что только могут, и данный метод сулит им великие открытия, придает им в собственных глазах прозорливость и силу гения, а поскольку природа существует соответственно с общими законами, то они, устанавливая, в свою очередь, обобщенные законы бытия, полагают, что проникли в ее тайны. Расширяя и абстрагируя суть какого-либо мелкого явления, они, таким образом, провозглашают его всеобщим принципом: стремление все обратить в принцип побуждает их воплощать в одном-единственном явлении столько понятий, что ум человеческий не в силах все их охватить и сравнить; вот к чему приводит желание приписать бесконечную ценность весьма банальным фактам. Менее отважные и более осторожные исследователи действуют иначе, извлекая из какого-либо правила исключение за исключением, пока от самого правила камня на камне не останется, ибо бесконечные извлечения низвели его до простого изначального факта. Вот как у нас строятся и разрушаются системы, что отнюдь не расхолаживает последующих мудрецов от стремления воздвигать на руинах погибших систем свои, новые, которые продержатся не дольше старых.

И вот эдак, блуждая каждый своим путем, они надеются достичь искомой цели, и ни один из них не замечает, сколько поворотов он оставил позади себя. Как же поступать тому, кто искренне желает обрести истину среди этой толпы мудрецов, утверждающих, что давно познали ее, и клеветующих друг на друга? Оценивать ли ему все их системы? Зарыться ли в ученые труды, прислушаться ли к голосу философов, сравнивать ли одну секту с другой? Осмелится ли он выбрать между Эпикуром и Зеноном, между Аристиппом и Диогеном, между Локком и Шефтсберри? Решится ли он предпочесть свои убеждения мыслям Паскаля или свои рассуждения доводам Декарта? Послушайте, как проповедует мулла в Персии, бонза в Китае, лама

в Тибете, брамин в Индии, квакер в Англии, раввин в Голландии, и Вы будете поражены силою убежденности, которою проникнута нелепая доктрина каждого из них. Скольких же людей, не менее разумных, чем Вы, сумели они обратить в свою веру! И если Вы закроете от них свой слух, если осмеете их доводы, если откажетесь верить им, то не думайте, что это Ваш разум противится их предрассудкам, — нет, это Ваши собственные предрассудки противостоят им.

Десяти жизней окажется мало, чтобы всесторонне обсудить хотя бы одно из этих воззрений. Парижский мещанин насмехается над суждениями Кальвина, а те, в свою очередь, заводят в тупик докторов Сорбонны. Чем более углубляешься в суть явления, тем больше сыщешь поводов для сомнений, тщетно противопоставляя довод доводу, мнение мнению, авторитет авторитету: чем дальше продвинешься, тем сильнее усомнишься, чем больше изучаешь, тем меньше знаешь, и, в конце концов, удивляешься лишь одному: стремясь познать неизвестное, люди утрачивают и те знания, какими располагали.

Письмо 3

Мы ничего не знаем, дорогая моя Софи, мы ничего не видим, мы кучка слепцов, брошенных на произвол судьбы в этой необъятной вселенной. Каждый из нас, не различая предметов во тьме неведения, составляет себе о них самое фантастическое представление, почитая его единственно истинным; взгляды его, разумеется, не совпадают со взглядами соседа, и в этой огромной толпе бессвязно болтающих философов не найдется и двух, согласных друг с другом в том, что касается системы нашего мира, — хотя каждый из них, разумеется, в ней давно разобрался, или природы вещей, — хотя другим он усердно ее разъясняет.

К великому несчастью, тот предмет, что наименее доступен нашему пониманию, как раз является самым насущным для нас: я имею в виду знание человека ¹. Мы не видим души другого, ибо она скрывается от нас, не видим и своей собственной, ибо такого мысленного зеркала нам не дано. Мы слепы, слепы необратимо, от рождения, а потому и представить себе не можем, что такое зрение; и вот, вообразив, что мы ничем не обделены, мы решаемся измерять вселенную, тогда как убогим нашим понятиям так же далеко до границ познания, как рукам — до пределов вселенной.

Если вдуматься, то все вышесказанное так же справедливо как в собственном смысле слова, так и в отвлеченном. Наши чувства — инструмент всех наших познаний. Именно через их посредство приходят к нам идеи, или, по крайней мере, чувства влекут за собой идеи.

Человеческий разум, закованный в свою оболочку, не может вырваться из своей темницы — тела — и познает мир с помощью ощущений. Это, если угодно, пять окон, через которые наш дух глядит на свет божий, но как узки эти окна, как тусклы стекла, как непроницаемы стены дома, и весь он освещен скверно донельзя. Чувства наши даны нам, дабы охранять нас, а не просвещать, дабы упреждать нас о том, что полезно или вредно, а не о том, что истинно или ложно; их назначение вовсе не в том, чтобы помогать нам исследовать природу, и, когда мы понуждаем их к этому занятию, они отказываются служить нам, они нам изменяют, и никогда нельзя быть вполне уверенным в истине, открытой с помощью чувств.

Ошибка одного чувства исправляется другим: если бы мы имели всего один орган чувств, мы никогда не выходили бы из заблуждений. Следовательно, мы располагаем обманчивыми чувствами, которые взаимно исправляют одно другое. Когда же объединяются сразу два неверных ощущения, они способны обмануть нас самим фактом своего согласия, и если тут не вступится третье, то нет никаких средств обнаружить ошибку.

Зрение и осязание — самые надежные проводники на пути к истине, ибо предлагают нам объект исследования в самом полном его виде и неизменном состоянии, более удобном для наблюдения, нежели это делают три остальных органа. Вообще, зрение и осязание воплощают в себе дух философии. Зрение, способное мгновенно объять полусферу, дает обширные возможности к систематизации явлений. Осязание, медленное и постепенное, с помощью коего изучают один предмет за другим, есть орудие исследования. Разумеется, и то, и другое прямо зависит от тех органов, которые служат им. Чем дольше глаз рассматривает удаленный предмет, тем более он подвергается оптическому обману; рука, ощупывающая часть предмета, не способна охватить его целиком.

Неоспорим тот факт, что из всех пяти чувств зрение доставляет нам наибольшее количество сведений — и столько же ошибок, ибо именно оно прежде всего помогает нам судить о природе, и именно оно же подсказывает почти все ошибочные суждения. Вы, конечно, слышали о знаменитой операции, произведенной над слепорожденным, которому не святой, но хирург вернул зрение; ему понадобился весьма долгий срок, чтобы научиться им пользоваться. Он утверждал, что все, им наблюдаемое, находится у него в глазах; глядя на удаленные предметы, он не мог определить ни их размеры, ни степень удаления от него; он не способен был отличить портрет от оригинала; к сожалению, забыли выяснить, не видит ли он, вдобавок, все перевернутым.

Даже с учетом обретенного человечеством опыта ни один человек не огражден от ложного суждения об удаленном предмете или от ошибок в измерении предмета, находящегося у него перед глазами; самое удивительное, что ошибки эти даже не всегда объясняются законами перспективы.

Но ежели зрение нас обманывает, а осязание исправляет ошибки зрения, то это вовсе не означает, что в тысяче других случаев осязание также не сыграет с нами подобной шутки. Кто нам поручится, что оно вообще всегда не обманывает нас и что мы не нуждаемся в шестом чувстве, дабы проверить истинность наших пяти? Известный опыт с шариком, который катают между двумя скрещенными пальцами, доказывает, что мы рабы привычки не только в наших суждениях, но и в наклонностях. Осязание, столь уверенно претендующее на правильную оценку фигур, на самом деле не в состоянии точно оценить ни одной из них: оно никогда не поможет нам определить, является ли данная линия прямою, данная поверхность — ровною, данный куб — идеальным; не лучше того судит оно и о температуре: один и тот же погреб покажется нам холодным летом и теплым зимою, тогда как температура в нем не изменилась; подставьте правую руку под струю холодного воздуха, а левую подержите над огнем, затем погрузите их в теплую воду — правой руке в этой воде будет тепло, левой же холодно. Каждый из нас смело судит о силе тяжести, но все забывают ее основной эффект, а именно давление воздуха; мы едва замечаем его, полагая, что носим вес только собственного тела, тогда как на самом деле выдерживаем тяжесть целой атмосферы. Если захотите получить частичное подтверждение этому факту, то, сидя в ванне, медленно высуньте руку из воды, держа ее горизонтально, и, по мере того как воздух будет давить на нее, Ваши утомленные мускулы почувствуют этот невыносимый груз, о котором Вы раньше и не подозревали. Множество других наблюдений такого же рода убедят нас в том, насколько обманчиво и ненадежно самое надежное из наших чувств; оно то скрадывает, то искажает реально существующие явления, то убеждает нас в том, что они вообще не существуют. И тщетно мы объединяем зрение и осязание, чтобы с их помощью судить о пространстве, — мы даже не знаем наверняка, что велико, а что мало. Видимая величина предмета всегда относительна размерам того, кто ее определяет. Для клеща, встретившего на своем пути камешек, этот последний представляет целые Альпы. Наш фут покажется туазом пигмею и дюймом великану. А если бы дело обстояло иначе, наши чувства были бы несоразмерны с нашими потребностями, и вряд ли бы нам удалось выжить. В любом случае каждый из нас сам познаёт меру и суть вещей. Да и существует ли абсолют-

ная величина, все ли мы обманываемся или же все правы? Не будем углубляться в сей предмет, Вы и так видите, куда могут завести подобные размышления. Вся геометрия основана на зрении и осязании, и оба эти чувства скорее всего нуждаются в проверке другими, нам не присущими; итак, всё, что давно и неопровержимо доказано, представляется весьма сомнительным, и кто знает, не являются ли «Начала» Эвклида цепью заблуждений и ошибок?

Нам недостает не столько самой способности к мышлению, сколько пищи для него. Человеческий разум способен совершить многое, но чувства поставляют ему слишком мало материала для работы, и вот жаждущая действия душа предпочитает, насколько ей это доступно, породить химеры, нежели пребывать в полном бездействии. Так стоит ли удивляться тому, что суетная, горделивая философия затерялась в мечтаниях, а лучшие ее умы изощряются в нелепых выдумках? Посмеем ли мы доверять собственному слабому рассудку, видя, как самый методичный из Философов, — тот, кто четче других изложил свои принципы и основательнее других доказал свою правоту, с первых же шагов завяз в рассуждениях и, от ошибки к ошибке, докатился до абсурда в своей системе? Декарт, желая с самого начала искоренить все ошибочные, ложные утверждения, начал с того, что подверг сомнению все утверждения вообще, отдав их на суд разума; установив единый неоспоримый принцип «Я мыслю, следовательно, я существую» и продолжая рассуждать дальше с величайшею осторожностью, он счел, что открыл истину, а сам оказался на ложном пути. Руководствуясь этим принципом, он начал с того, что исследовал самого себя; нашедши в себе весьма различные качества, которые, казалось, принадлежали к двум разным субстанциям, он постарался определить эти две субстанции и, отбросив все, что было лишним и мешало пониманию идеи этих субстанций, он определил первую из них как субстанцию пространственную и вторую как субстанцию мыслящую. Определения тем более мудрые, что они оставляли частично неясною проблему обеих субстанций; так, из этого определения непреложно следовало, что пространство и мысль не могут соединяться и образовывать единое целое. И что же? — определения эти, с виду безупречные, были опровергнуты в течение жизни менее чем одного поколения! Ньютон доказал, что основа материи вовсе не пространство, Локк доказал, что основа души вовсе не мысль. И прощай, мудрая, методичная декартова философия! Окажутся ли его преемники более удачливыми, а их системы более живучими? Нет, Софи, и эти начинают уже шататься и в скором времени рухнут, ибо все они — творение человеческое.

Отчего же нам не дано узнать, что есть дух и материя? Да оттого,

что мы познаем мир через посредство наших чувств, а они не способны дать нам это знание. Напрасно предоставляем мы свободу мысли — она тотчас вступает в борьбу с чувствами; разум, даже подчинившийся чувствам, находится, как и они, в противоречии с самим собою; геометрия полна доказанных теорем, которые невозможно принять за верные. Философские термины «субстанция, душа, тело, вечность, движение, свобода, необходимость, случайность» суть слова, кои мы принуждены употреблять каждую минуту и кои никто и никогда не понимал. Элементарная физика остается для нас столь же темной, как метафизика и мораль; великий Ньютон, толкователь законов вселенной, даже не подозревал о чудесах электричества, этого высшего вида природной энергии. Самое распространенное и самое легкое для наблюдения явление природы, а именно размножение растений почкованием, до сих пор не исследовано, и в этой области ежедневно обнаруживаются новые факты, опрокидывающие все имеющиеся на сегодня представления. Плиний нашего века ², решив открыть тайну размножения, был вынужден прибегнуть к малопонятному принципу, не совместимому с известными законами механики и движения; тщетно мы пытаемся объяснить тайны, нас окружающие: повсюду мы наталкиваемся на необъяснимые трудности, свидетельствующие о том, что ни о чем нельзя вынести окончательного и ясного суждения.

Вы видели Статую у аббата Кондильяка ³, — судите сами, какую пищу получило бы каждое из наших чувств, пользуясь мы ими в отдельности, и какие странные выводы сделали бы о природе вещей существа, имеющие меньше органов чувств, чем мы. Как по-вашему, что сказали бы о нас обитатели иных миров, наделенные вовсе не известными нам чувствами? Возможно ли доказать, что такие чувства не существуют, что они не способны проникнуть в лабиринт тайн, куда нашему разуму доступ закрыт? Число органов чувств неограниченно, — кто может с уверенностью определить, сколько их необходимо иметь живому, организованному существу, дабы оно могло жить и ощущать? Возьмем животных: многие из них имеют меньше органов чувств, чем мы, так отчего бы другим существам не иметь их больше нашего? Почему бы им не обладать такими чувствами, о которых мы никогда ничего не узнаем именно потому, что они не предлагают нам никаких впечатлений, и которые, тем не менее, могли бы объяснить смысл тех действий животных, в которых мы доселе не можем разобраться? Рыбы лишены слуха, слизняки и черви слепы, ни рыбы, ни птицы не различают запахов, а устрице, кажется, присуще лишь чувство осязания, но сколько животных проявляют предвидение, предчувствия, осторожность или невероятную хитрость,

которые скорее можно приписать наличию какого-то неизвестного людям органа, нежели явлению, невинно называемому инстинктом. Какая наивная гордыня толкает нас равнять свойства всех живых существ по нашим собственным, тогда как все существующее опровергает это смехотворное заблуждение! Как нам удостовериться в том, что из всех разумных существ, обитающих во вселенной, мы не самые жалкие пасынки природы, что она не столь уж безжалостно обделила нас чувствами, способными стать для нас средством познания, и что не этой обделенности мы обязаны нашей тупостью — этому вечному препятствию на пути к постижению тысяч очевиднейших истин?!

Так как же, располагая столь ничтожными способами исследования материи и живых организмов, беремся мы судить о душе, о духовности?! Предположим, что таковая реально существует, — как же мы определим, что есть дух, когда мы даже толком не знаем, что есть тело? Мы видим себя в окружении тел, лишенных души, но кто из нас видел когда-нибудь душу, лишенную тела, и кто имеет хоть малейшее представление о чисто духовной субстанции? Что можем мы сказать о душе, — ведь мы не знаем о ней ничего, кроме ее порывов и движений, проявляющихся посредством чувств? Как мы определим ее, коль скоро она не обладает бесконечностью других свойств — тех, которым требуется для выражения лишь подходящая телесная организация и свобода? Приходит ли к нам знание снаружи, через органы чувств, как утверждают материалисты, или же оно заложено в нас и высвобождается изнутри, как утверждал Платон? Если дневной свет проникает в дом через окна, тогда чувства являются основой нашего познания. И напротив, если дом освещен изнутри, вы можете позакрывать все ставни, и все-таки свет будет существовать, хотя и станет тусклее; но, чем шире вы распахнете окна, тем светлее станет вокруг и тем легче вам будет различать окружающие предметы. Вот почему наивно спрашивать, как душа может видеть, слышать и осязать, не имея ни глаз, ни ушей, ни рук; это то же самое, как если бы хромым спросил, как можно ходить без костылей; гораздо более философским явился бы вопрос, как может душа, имея глаза, уши и руки, видеть, слышать и осязать, ибо вопрос о том, как взаимодействуют тело и душа, всегда являл собой камень преткновения для метафизиков, и уж вовсе не разрешима проблема, как наделить ощущениями чистую материю.

Кто знает, не существуют ли различные степени разума, каждой из которых природа придала тело с соответствующими органами чувств, скажем, от улитки до людей здесь, на земле, и от людей до неких высших существ в других мирах? Кто знает, не тем ли отли-

чается человек от животного, что душа этого последнего имеет ровно столько же свойств, сколько тело имеет органов чувств, тогда как человеческая душа, замкнутая в теле, которое стесняет большинство ее проявлений, поминутно пытается взломать двери своей тюрьмы, увенчивая человеческую слабость поистине божественной дерзостью. Не так ли величайшие гении — честь и слава рода человеческого — преодолевают стесняющий их барьер чувств, устремляясь в царство высшего духа и разума, возвышаясь над заурядным человеком настолько же, насколько этот последний стоит выше животного. Отчего бы нам не вообразить себе необъятную вселенную вместилищем бесконечного разнообразия разумных существ, организованных на тысячу разных ладов, способных в полной мере оценить игру природы и пристально наблюдающих за деяниями людей? О моя Софи, как сладостно думать, что они, быть может, иногда незримо присутствовали при наших дивных беседах, что неслышный плеск аплодисментов исходил от этих чистых существ — свидетелей того, как две нежные и благородные души втайне друг от друга жертвовали любовью во имя добродетели.

Пусть мои предположения и безумны, — я довольствуюсь тем, что никто не может доказать обратного, уничтожив посеянные мною сомнения и догадки. Что мы ведаем, что понимаем, как существуем? Где мы находимся? Мы гонимся за ускользающими от нас призраками, какие-то неясные тени, прозрачные фантомы пляшут перед нашим взором, а мы уверены, будто видим вечную цепь бытия. Мы не знаем, что есть вещество во вселенной, мы не можем даже утверждать, что осязаем его поверхность, а между тем дерзаем проникать в бездонные глубины природы. Оставим нелепые эти попытки детям, носящим звание философов. Ибо, пройдя по замкнутому кругу их призрачного знания, мы приходим к тому, с чего начал Декарт: «Я мыслю, следовательно, я существую». Вот и все, что мы знаем.

Письмо 4

Чем глубже изучает человек самого себя, тем более ничтожным он себе кажется. Но такое уменьшительное стекло годится лишь для честных глаз. Не правда ли, дорогая Софи, странно выглядит та гордость, которую ощущают, признаваясь в своем ничтожестве, хотя опа-то, пожалуй, и является единственным зерном, какое можно извлечь из разумной философии. Что до меня, я готов сто раз простить какому-нибудь лжеученому, который тщеславится своим так называемым званием, нежели настоящему, когда он делает из своего невежества предмет гордости. Пусть безумец воображает себя

полубогом, — в таком безумии хотя бы есть логика, но считать себя мелкой мошкой и вместе с тем гордо карабкаться вверх по былинке — вот это, на мой взгляд, и есть предел глупости. Так какова же, о Софи, первая заповедь мудрости? — Смирение! То смирение, о коем так много толкуют христиане, но так мало знают люди; то смирение, которое должно рождаться в нас в результате изучения самих себя. Исполнимся смирения за весь род человеческий, чтобы иметь возможность гордиться Человеком. Не будем в неуместной гордыне утверждать, что человек — царь вселенной, что солнце, звезды, небесный свод, воздух, земля и море созданы для него одного, что растения существуют лишь для того, чтобы поддерживать его существование, а животные — для того, чтобы он их пожирал; с подобными рассуждениями, с такой всепоглощающей жаждой счастья, превосходства, совершенства каждый способен вообразить себе, что остальные люди обязаны служить ему, что он единственный предмет забот природы. Но ежели стольким созданиям суждено способствовать нашему выживанию, то можем ли мы быть уверены, что не должны, в свою очередь, помогать выжить им? И не есть ли это свидетельство нашей слабости? Как можем мы лучше знать их предназначение, чем наше собственное? Если бы мы были лишены зрения, то каким образом догадались бы о существовании птиц, рыб, насекомых, почти недоступных нашему осязанию; многие из этих насекомых, в свой черед, кажется, и не подозревают о нашем существовании. И отчего не предположить наличие иных видов, гораздо более совершенных, которых мы никогда не обнаружим за неизменением органа чувств, способного на это, и которые, вероятно, считают нас такими же презренными существами, какими в наших глазах являются, скажем, черви. Но довольно, не будем принижать человека за то, что он гордится достоинствами, коими не обладает; у него есть достаточно много других, коими он может законно и заслуженно гордиться; пусть рассудок раздавливает и уничтожает его — какое-то внутреннее чувство возвышает и облагораживает человека; невольная дань уважения, какую любой низкий негодяй втайне воздает праведнику, и есть истинный признак благородства, запечатленного природою в человеческом сердце.

Разве не ощущали Вы того скрытого беспокойства, которое терзает нас при мысли о нашем ничтожестве и восстает против наших слабостей как против оскорбления врожденных наших достоинств? Разве не испытывали невольных порывов, охватывающих иногда душу при виде непоколебимой нравственности или безупречной логики явлений; разве не пылало Ваше сердце чистой любовью к небесным добродетелям, к возвышенным восторгам, устремляющим все наше существо в мечты, превращающие нас в полубогов? Ах, если

бы этот священный пламень не угасал так быстро, если бы этот блаженный восторг озарял всю нашу жизнь, на какие великие подвиги подвигла бы нас отвага, какие пороки не победили бы мы в себе, какие победы не одержали бы над самими собой, какие деяния оказались бы нам не под силу?! Достойнейшая моя подруга, сила эта заложена в нас, она просыпается на миг, побуждая нас доискиваться ее вечно; это святое рвение есть энергия наших природных свойств, которая силится разорвать земные путы и которой, может быть, одни мы и властны дать свободу. Как бы то ни было, мы слышим внутренний голос, воспрещающий нам презирать самих себя; рассудок ставит нам препоны — душа возносит над ними; и если мы ничтожны в своем знании, мы велики в чувствах; какое место ни занимало бы человечество в системе вселенной, человек — друг справедливости и сторонник добродетелей — не может считаться низким по натуре.

Я все сказал, Софи, и, если бы вопрос состоял лишь в том, чтобы философствовать, я бы остановился именно здесь и, сочтя себя ограниченным тесными пределами моих знаний, кончил бы поучать Вас прежде, чем начал, но я уже говорил Вам, что не наши совместные рассуждения были моим намерением, ибо единственные аргументы, коими я рассчитывал убедить Вас, я решил искать в глубине Вашего сердца. И если я еще открою Вам, что происходит в моем собственном и Вы испытаете те же чувства, тогда единые идеи должны объединить нас, тогда мы дружно вступим на одну дорогу, которая поведет нас на поиски настоящего счастья.

В течение моей довольно короткой жизни я испытал множество превратностей судьбы; так и не выбившись из бедности, я, можно сказать, вкусил от разных сторон бытия человеческого, познав его во всех благих и неблагих видах. Природа наделила меня душою в высшей степени чувствительной, судьба подвергла ее всевозможным потрясениям, так что я вправе повторить слова персонажа Теренция: «Ничто человеческое мне не чуждо»⁴.

Во всех моих жизненных передрягах я неизменно чувствовал борьбу двух различных, а иногда и противоречивых начал, — первое из них связано с моей судьбой, второе же — производное душевного состояния; таким образом, часто среди невзгод меня утешало ощущение счастья, и, напротив, неизъяснимая тоска охватывала среди прочного благополучия.

Эти-то внутренние противоречия, не зависящие от судьбы и внешних событий, и повлияли на меня тем более сильно, что склонность моя к созерцательной уединенной жизни весьма способствовала их развитию. Я как бы ощущал в себе внутренний противовес судьбе;

в одном и том же состоянии одиночества я черпал утешение в скорбях и слезы в счастье. Отыскивая двигатель этой скрытой силы, которая уверенно управляла моими страстями, я пришел к выводу, что обязан этим некоей тайной, неосознанной самооценке всех моих действий и предметов желаний. Несчастья гораздо менее мучили меня, когда я сознавал, что они не есть дело моих собственных рук. И наслаждения много теряли в цене, когда я, хладнокровно поразмыслив, определял их истинную сущность. Я ощутил, как зародились во мне доброта, исцеляющая от горечи неудач, и величие, возвышающее над удачей; я понял, что бесполезно искать счастье на краю света, коли ты не смог воспитать его в себе самом, ибо тщетно счастье будет стучаться в дом человека, ежели душа его не готова и не способна принять его.

Вот скрытый двигатель, тот внутренний стержень, о коем я говорил Вам выше, — он направляет по верному пути не только мои сегодняшние действия, но помогает также трезво оценить и прошлое, порицая одни поступки, казалось бы, благовидные, и одобряя другие, осужденные людьми; он напоминает мне о событиях молодости, тесно связывая их с сердечными привязанностями, коими я этим событиям обязан.

По мере приближения к концу жизненного пути, я чувствую, как слабеют во мне все те порывы, которые столь долго держали меня в плену страстей. Испив до дна чашу добра и зла, испытав все, что может испытать чувствительная натура, я чувствую, как бледнеет и стирается образ будущего и все слабее становятся надежды, ибо ничего хорошего грядущее мне не сулит. Вместе с надеждами угасают и желания, жизнь моя вся в прошлом, я живу лишь им, и какая мне радость в долгой старости, если ничто уже не заставит мое сердце затрепетать, как прежде?!

А потому вполне естественно, что охотнее всего я обращаю взор в прошлое, которое и составляет нынче мою жизнь; созерцая его, я, наконец, ясно вижу свои ошибки; добро и зло предстают пред моею совестью в подлинном свете, не украшенные оправданиями, не замаранные предрассудками.

Все заблуждения — порожденье моих страстей — умирают вместе с ними; вещи, некогда волновавшие меня, предстают предо мною не такими, какими их показывало мне горячее воображение, а в своем подлинном виде. Воспоминание о моих добрых или дурных делах ввергает меня в благодушное или же дурное расположение духа, гораздо более живое, нежели воспоминание о предмете этих дел; так, давнее минутное наслаждение приуготовило мне долгое раскаяние; так, жертвы во имя чести и справедливости ныне постоян-

но вознаграждают меня за то, чего они мне некогда стоили, воздавая за краткосрочные лишения непреходящими радостями.

С кем же говорить мне о сладости моих воспоминаний, как не с тою, которой я более прочих обязан ими? Именно Вам, Софи, надлежит сделать счастливою память о моих последних безумствах, напоминая о добродетели, которая спасла меня от них. В прошлом Вы слишком часто заставляли меня краснеть за мои ошибки, чтобы я покраснел за них сегодня, и я не знаю, чем должен гордиться более: победою ли, одержанной над самим собою, или же Вашей поддержкою, заставившей меня одержать эту победу. Прислушайся я тогда к наущениям преступной страсти, прояви хоть минутную низость, застань я Вас в миг слабости, как дорого пришлось бы мне сегодня заплатить за те восторги, что казались тогда слаще всего на свете, за восторги, бедные чувствами, соединившими нас нынче, за восторги, кои отвратили бы нас друг от друга навсегда! Стыд и раскаяние сделали бы нас омерзительными друг другу, я возненавидел бы Вас именно за то, что слишком любил; и какой угар сладострастия одарил бы мое сердце тем, что дает чистая и нежная привязанность?! Но мы избежали столь недостойного разрыва, и любое воспоминание о Вас заставляет меня гордиться собою; эти воспоминания добавляют к дружбе, Вами внушенной, почитание, уважение и признательность за то, что Вы сочли меня достойным любить Вас. С чем, как не с удовольствием, должен я вспоминать о тех минутах, кои, причинив мне мгновенную боль, уберегли от вечных терзаний?! Как не наслаждаться мне нынче памятью о прелести Ваших речей, возвышающих душу и придающих несметную ценность союзу наших сердец?! Ах, Софи, что случилось бы со мною, останься я нечувствительным к знакам Вашего уважения ко мне; что случилось бы со мною, позволь я себе превратиться из друга, Вами избранного, в презренное существо, достойное одного отращения?!

В том образе добродетели, который представили Вы моему взору, едва ли не самой трогательной была боязнь замарать под конец безупречную жизнь, утратить в один миг плод стольких принесенных жертв; незапятнанная честь, вера, добропорядочность — вот священный залог дружбы, которую Вы научили меня уважать, вот неприступный барьер, за которым Вы столь упорно укрывались от моего вожделения. Нет, Софи, я не припомню дня, когда воспоминание о Ваших речах не заставило бы мое сердце затрепетать, а глаза — пролить сладкие слезы. Все мои чувства к Вам навеки облагорожены тем единственным, которое возобладало над ними. Все они составляют гордость и сладость моей жизни, всеми ими я обязан Вам, и только благодаря Вам я и узнал им настоящую цену. О нежная и достойная

подруга, я искал раскаяния, Вы же помогли мне обрести счастье!

Таково состояние души, которая, осмелившись предложить себя в качестве образца, предстает перед Вами как плод Ваших же забот. И если тот тайный судия — внутренний голос, звучащий в моем сердце, зазвучит также и в Вашем, научитесь внимать ему, подчиняться ему, научитесь искать и находить счастье в себе самой; лишь такое счастье не страшится ударов судьбы; лишь оно способно заменить человеку все прочие блага. Вот моя философия, вот единственное искусство быть счастливым — сознавать, что счастье твое в твоих руках.

Письмо 5

Вся нравственность человека заключена в его намерениях. Если верно, что добро — благо, оно должно быть запечатлено в глубине нашего сердца точно так же, как и в наших делах; первая награда справедливости есть сознание того, что ее придерживаются. Если душевная доброта свойственна нашей натуре, человек должен чувствовать себя здоровым или соразмерно сложенным лишь при условии, что он добр. Если же это не так и человек от природы зол, то он и не может перестать быть им, не наспугав себя. И тогда доброта его выглядела бы противоестественным пороком, направленным на то, чтобы вредить окружающим; так, например, для волка естественно терзать свою добычу, и человеческий человек считался бы таким же отклонением, как жалостливый волк, а добродетель доброты вызывала бы у нас одни только угрызения совести.

Вы, верно, полагаете, что нет ничего проще, как разрешить сей вопрос? В чем, скажете вы, и состоит он, как не в том, чтобы, заглянув в свою душу, изучить ее строго и беспристрастно и определить, куда влекут нас наши природные склонности? Какое зрелище радует нас более всего — мучения окружающих или их счастье? Какой поступок нам приятнее, и о каком вспоминаем мы с бóльшим удовольствием — о добром ли деле или о подлости? Что занимает нас более всего в наших театрах: радуют ли нас увиденные злодеяния? льем ли мы слезы над наказанными преступниками? к кому устремлены наши тайные симпатии — к герою несчастному или торжествующему? И кто из нас, поставленный перед выбором, не предпочел бы стать страдающим праведником, нежели процветающим злодеем, настолько страх причинить зло пересиливает в нас боязнь претерпеть его от других.

Стоит нам стать свидетелями какой-нибудь жестокости или несправедливости на улице или в дороге, как тотчас порыв гнева и возмущения поднимается у нас в душе и побуждает принять сторону обиженного, хотя другой, более могущественный долг удерживает нас, а законы лишают права защитить слабого.

И напротив, любое проявление милосердия или великодушия поражает и восхищает нас, наполняя сердце чувством любви. Кто из нас при этом не говорит себе: «Я хотел бы поступить точно так же». Даже самые закоренелые во зле души не в силах преодолеть в себе этой невольной тяги к доброте: грабитель, раздевающий прохожих, прикроет наготу бедняка; самый кровавый из убийц поддержит человека в беде; предатели — и те, составляя свои заговоры, дают друг другу руку и слово, свято соблюдая свои законы. О человек, сколько бы ты ни был испорчен, я вижу в тебе злодея не от рождения, а по случаю, ибо природа не создала тебя для злодейства!

Говорят, что те, кто совершил или скрывает преступление, часто выдают себя криком угрызения совести. Увы, кто из нас не слышал этот незаглушаемый голос?! Да, крик этот не выдуман, но как хотелось бы нам избавиться от этого невольного движения души, причиняющего столько мучений! Не лучше ли следовать собственной природе, — вот когда мы поймем, как благосклонна она к тому, что сама же вложила в нас, и как сладостно вкушать внутренний покой, когда душа сама с собою в ладу. Злой человек страшится себя самого, он бежит от себя, он веселеет, лишь позабыв о себе, он беспокойно озирается вокруг, ища, над кем бы посмеяться, ему не по себе, если некого осыпать оскорбительными насмешками; в душе же праведника царит ясность и покой, смех его не злораден, а жизнерадостен, и радость эту он черпает в себе самом. В одиночестве он так же весел, как в кругу людей, и свое неизменное добродушие он не перенял у окружающих, но, напротив, сам им его сообщает.

Вспомните обо всех народах мира, об их истории: сколько бесчеловечных, нелепых культов, какое пестрое разнообразие прав и характеров, но повсюду одинаковые идеи справедливости и порядочности, одно и то же понимание добра и зла. Древнее язычество породило омерзительных богов, коих нынче назвали бы злодеями, ибо они проповедовали ужасные злодеяния и удовлетворение своих страстей как наивысшую добродетель. Но пороки, пусть даже освященный высшей волей и проповедуемый с небесных высот, тщетно искал отклика в человеческих сердцах, они не принимали его. Люди славляли вслух беспутство Юпитера, но шепотом восхваляли воздержанность Ксенократа; целомудренная Лукреция поклонялась бесстыдной Венере, бесстрашный Римлянин проповедовал страх, вели-

кий Катон почитался выше, чем само провидение, и бессмертный голос добродетели, временами заглушая голоса богов, проникал в души людей, обращая Небеса в место преступления и в обитель преступников.

Таким образом, в каждой душе живет неистребимая идея истины и справедливости, возвышаясь над любыми национальными предубеждениями и нормами воспитания. Эта идея есть не что иное, как неосознанная мерка, которою, презрев другие правила, мы оцениваем наши и чужие поступки как дурные или хорошие, и эту-то мерку я и нарекаю Совестью.

Но, едва я произнесу это слово, как тут же со всех сторон возвысятся голоса философов: «Как, ошибки молодости? Как! недостатки воспитания? — закричит этот негодующий хор, — все, что есть в человеческом поведении, заложено опытом, и обо всякой вещи мы судим, опираясь на ранее открытые идеи!» Они идут и дальше: они осмеливаются отрицать ту явную, общую черту сходства всех наций, и вместо всем очевидного единообразия людских суждений изыскивают в своих философских потемках какое-нибудь невнятное, им одним постижимое доказательство обратного, как будто все природные склонности людей могут быть опорочены развращенностью нескольких индивидуумов, как будто несколько чудовищ низводят до себя весь род людской. К чему, например, мучился скептик Монтень, пытаясь раскопать в каком-то отдаленном уголке земли пример нравов, противоречащий общим понятиям о справедливости? Зачем ему понадобилось награждать жалкого неизвестного путешественника таким авторитетом, в каком он отказывал наиболее почитаемым писателям? Могут ли единоличные, нелепые и неясные явления, имеющие частные, неведомые нам причины, разрушить общую систему идей, построенную на сравнении морали всех времен и народов, когда народы эти, различные абсолютно во всех своих нравах и обычаях, сошлись именно в одном этом пункте? О Монтень, претендующий на искренность и справедливость, будь же искренен и справедлив, насколько философ вообще способен на это, и отыщи мне хоть где-нибудь на земле такое место, где преступлениями почитаются стойкость в вере, умеренность, щедрость и милосердие; где порядочный человек презираем, а злодей — в почете!

Я не намерен вдаваться здесь в метафизические тонкости, заводящие в тупик. Я уже говорил Вам, что желаю не дискутировать с философами, но обратиться к Вашему сердцу; пусть философы всего мира доказывают мою неправоту: если Вы согласитесь с моими рассуждениями — более мне ничего не нужно. Для доказательства же моей правоты требуется лишь одно: научить Вас отличать благо-

приобретенные понятия от врожденных наших чувств, ибо чувство возникает в нас гораздо раньше знания: никто ведь не учит нас желать себе добра и бежать зла — мы получаем эти качества в дар от природы; любовь к добру и отвращение ко злу столь же естественны для нас, как и собственное наше существование; таким образом, хотя понятия приходят к нам извне, чувства, коими мы мерим эти понятия, живут внутри нас, и только с их помощью мы постигаем соответствие или несоответствие между нами и явлениями, к коим мы должны либо стремиться, либо питать отвращение.

Существовать для нас — значит чувствовать, ибо чувства стоят несравненно выше разума. Какова бы ни была причина нашего существования, она способствовала сохранению рода человеческого, дав людям чувства, сообразные с их природою: никто ведь не станет отрицать, что по крайней мере чувства наши являются врожденными. Вот каковы они в отношении отдельной личности: любовь к самому себе, страх боли и смерти и стремление к благополучию. Но ежели (а сие бесспорно) человек по природе своей существо общественное или созданное таковым стать, то здесь выступают на сцену другие врожденные чувства, свойственные человеческому виду в целом. Именно система моральных ценностей, образованная из двух данных видов отношений — к себе и к окружающим, — и рождает естественное движение души — совесть.

Итак, поверьте, Софи, что вовсе нетрудно объяснить проявлениями человеческой природы существование совести, независимой от всего, вплоть до разума. И даже когда такое доказательство было бы невозможным, надо ли искать его? Ведь философы, оспаривающие идею совести, не могут доказать, что она не существует, но попросту ограничиваются утверждением ее несуществования; таким образом, когда мы утверждаем, что она существует, мы достигаем того же, что они, только наше утверждение подкреплено внутренней убежденностью и голосом совести, свидетельствующей в свою пользу.

Любезная подруга, пожалеем же этих унылых резонеров, отрицающих врожденные чувства и тем самым разрушающих подлинный источник всех человеческих радостей; не умея освободиться от гнета совести, они отрекаются вовсе ото всех чувств. Согласитесь, что нет ничего нелепее подобной системы, которая, будучи не в силах освободить человека от угрызений совести за полученное наслаждение, отказывает ему и в совести, и в наслаждении. Если бы верность любовников была бы всего лишь химерою, если стыдливость пола заключалась бы в одних пустых предрассудках, то что стало бы со всею прелестью любви? Если бы мы видели во вселенной только матерно и движение, то где были бы сейчас моральные ценности, к обладанию

коими вечно стремится наша душа? И какова была бы цена человеческой жизни, когда мы употребляли бы ее лишь на то, чтобы вести растительное существование?

Я возвращаюсь к чувству стыда, чувству, милому моему сердцу: сколь сладко победить его, а еще слаще склониться перед ним; чувство это одновременно и воспламеняет желания любовника, и противостоит им, но дает столько же наслаждений его сердцу, в скольких отказывает его чувствам. Зачем отрицать внутренний упрек, бросающий тончайший флер на тайные стремления целомудренной девушки и покрывающий ее ланиты очаровательным румянцем при одном звуке голоса возлюбленного? Разве нападение и защита не суть законы самой природы? Разве не она предписывает сопротивление тому полу, который уступает, когда захочет? Разве не она толкает на бегство того, кого озаботилась создать скромным и стыдливым? Разве не она во время объятий влюбленных укрывает их под покровами стыда и тайны, повергая в негу и забытие, кои делают их беззащитными перед любым нападением? Итак, Вы поняли, сколь ложно утверждение, что стыдливость не имеет достаточных оснований, что она всего лишь призрак, химера в природе; как может стыдливость быть плодом предрассудков, коли сами предрассудки нашего воспитания ее разрушают, коли Вы находите ее среди самых диких, самых невежественных народов, коли самые блестящие софизмы самых просвещенных наций не в силах до конца заглушить ее слабый голос?!

И если первые откровения разума ослепляют нас, делая неразличимыми очертания предметов, то давайте подождем, пока наши слабые глаза, притерпевшись к блеску, вновь откроются и увидят те же предметы такими, какими их хочет показать нам природа. Или, короче сказать, будем более простыми и менее суетными. Ограничимся теми непосредственными чувствами и ощущениями, кои мы обнаружим в себе, ибо рассуждения все равно приведут нас к ним же, коли не запутают вконец.

Совесть, совесть, божественный инстинкт, бессмертный, небесный голос, уверенный поводырь слепого, ограниченного, но мыслящего и свободного существа, бдительный судия добра и зла, высшее воплощение вечной субстанции, ты, уподобляешь человека Богам, ты одна возносишь человеческую природу на пьедестал совершенства.

Без тебя я пал бы до уровня животного, без тебя имел бы лишь одно жалкое преимущество: совершать ошибку за ошибкой, влекомый беспорядочным инстинктом и шатким разумом.

Стремитесь поступать так, как вы хотели бы, чтобы поступали другие.

Письмо 6

Итак, теперь у нас есть надежный проводник в Лабиринте человеческих заблуждений, но одного его существования недостаточно, надобно еще изучить его и привыкнуть следовать за ним. И, если он взывает ко всем сердцам, отчего же тогда, о Софи, так мало сердец внимает ему? Увы, он говорит на языке природы, а все, что окружает нас, понуждает забыть этот язык.

Совесть робка и боязлива, она склонна к уединению, свет и шум отпугивают ее; предрассудки, коих порождением ее считают, суть ее злейшие враги, она бежит их либо умолкает перед ними; их вопли заглушают ее шепот и препятствуют ему достичь нашего слуха. И если постоянно отворачиваться от нее, она замыкается в себе, она больше не говорит с нами, не отвечает на наши призывы; а когда совесть засыпает, то пробудить ее бывает так же нелегко, как прежде было трудно усыпить.

Когда я вижу, как люди, став рабами общественного мнения, посвящают ему всю свою жизнь, не уделяя даже самых малых крох собственному сердцу, мне представляется крошечное насекомое, ткущее из своей слюны огромную паутину; только она одна и выдает еще его существование, тогда как само оно, кажется, давно мертво в своей норке. Тщеславие людское подобно паутине, человек раскидывает ее, желая захватить в нее все, что видит вокруг себя. Они одинаково чувствительны: стоит задеть хоть одну нить, как паук тут же проявляет признаки жизни; он умер бы от тоски, останься паутина нетронутой, если же ее разорвать, он примется трудиться изо всех сил, пока не восстановит ее до конца. Так начнем с того, что вновь станем самими собой, осмыслим сами себя, ограничим нашу душу такими же пределами, какими природа ограничила все наше существо, — короче говоря, давайте сперва сосредоточимся, соберем с мыслями, и тогда, если мы пожелаем познать самих себя, все то, что составляет личность человека, вмиг предстанет перед нашим взором. Что до меня, то мудрецом назову я того, кто постигнет, в чем заключается человеческое «я», — как первый штрих определяет дальнейший рисунок, так первой целью человека должно быть отрешение от всего того, что не есть он сам.

Но как совершается этот раздел? Искусство сие не так уж сложно, как может показаться, или же, по крайней мере, трудность скрыта как раз не там, где ее ищут; оно, это искусство, зависит более от воли субъекта, нежели от его просвещенности, и, чтобы им овладеть, вовсе не надобен особый аппарат исследований и опытов. День дает нам свет, зеркало поставлено перед нами, но, чтобы увидеть, надо

пристально глядеть, а чтобы пристально глядеть, следует избавиться от предметов, отвлекающих внимание. Соберитесь с мыслями, найдите уединение — вот и весь секрет успеха, и, только владея им, вы постигнете собственное «я». Вы, может быть, думаете, что философия учит нас самосозерцанию? Ах, сколь гордыня под именем философии отвращает нас от него! Нет, совсем напротив, любезная моя подруга, дабы научиться философствовать, надо прежде углубиться в себя.

Не пугайтесь, умоляю Вас; я вовсе не питаю намерения обречь Вас на заточение и принудить светскую женщину к жизни затворницы. Уединение, о коем я толкую, менее всего побуждает закрыть двери дома и сидеть одной взаперти, — нет, оно требует всего-навсего, чтобы Вы избавили свою душу от натиска толпы, как говорил аббат Террасон, и закрыли доступ вредным страстям, которые осаждают ее со всех сторон. Но не следует пренебрегать никакими средствами, особенно поначалу, когда любое из них полезно, — ведь в один день не выучишься чувствовать себя в одиночестве посреди светской толпы; для женщины, имеющей столь долгую привычку жить всем, что ее окружает, сердечная сосредоточенность должна начинаться с сосредоточенности чувств. Сперва Вам надо будет научиться сдерживать свое воображение, для чего вовсе не следует завязывать глаза и затыкать уши. Удалите от себя предметы, вас отвлекающие, до того момента, как их присутствие уже не будет мешать Вам. А тогда смело можете вновь окружить себя ими, ибо Вы уже научитесь отрешаться от них, когда захотите. Я вовсе не говорю: покиньте общество, я даже не говорю: откажитесь от рассеянной жизни и суетных радостей света. Но я говорю Вам: научитесь быть в одиночестве, не скучая. Без этого Вы никогда не услышите голоса природы, никогда не познаете саму себя. Не бойтесь, что эти частые, хотя и краткие, отлучки сделают Вас молчаливой, неуклюжей и внушат отвращение к привычкам, от коих Вы не желали бы отказываться. Напротив, привычки эти станут Вам впоследствии еще милее.

Уединение тем хорошо, что пробуждает любовь к людям, неназойливый интерес к ним. Воображение показывает нам тогда все хорошие стороны общества, и скука одиночества идет, таким образом, на пользу человечества. Вы выигрываете вдвое, найдя вкус в созерцательной жизни; Вы обретете в ней большую привязанность ко всему, что Вам дорого, пока будете обладать им, и испытаете гораздо меньшую печаль, теряя то, чего судьбе будет угодно лишить Вас.

Делайте, например, каждый месяц перерыв на два-три дня в Ваших развлечениях и светских занятиях, дабы посвятить эти дни самому важному. Возьмите себе за правило проводить эти дни в одиночестве, пускай поначалу Вам и покажется это скучным. Лучше прово-

дить эти дни в деревне, нежели в Париже, — назовите, если угодно, такую поездку визитом вежливости: Софи едет навестить Софи. В городе одиночество неизбежно навеивает тоску, ибо все, что нас окружает, несет на себе отпечаток человеческой деятельности, во всем звучит отголосок жизни в обществе, и, будучи лишенной этого общества, Вы чувствуете себя не в своей тарелке, а комната, где Вы находитесь одна, весьма смахивает на тюремную камеру. В деревне же, наоборот, все окружение приветливо и весело, все побуждает к сосредоточенности и мечтательности, Вы чувствуете себя на воле, покинув печальные городские стены, сбросив оковы предрассудков. Леса, ручьи, зелень вытесняют из сердца образы людей; птички, свободно порхающие там и сям, дают нам, в нашем уединении, пример вольной жизни; Вы слышите их щебет, Вы наслаждаетесь ароматом лесов и лугов. Глаза, очарованные милыми образами природы, делают ее любезной и Вашему сердцу.

Вот тут-то и надобно начать беседовать с нею и изучать ее законы в ее собственных владениях. По крайней мере, скука не посмеет преследовать Вас, да и справиться с нею будет куда легче во время прогулки и созерцания лесов и полей, нежели сидя дома в кресле или шезлонге. Одно пожелание: избегайте выбирать для этого такое время, когда Ваше сердце, живо затронутое каким-либо веселым или печальным событием, терзалось бы воспоминаниями, тревожа Вас в уединении; когда Ваше смущенное и взволнованное воображение вопреки желанию напоминало бы Вам о том, что Вы покинули; ибо тогда ум Ваш, слишком озабоченный переживаниями, откажет Вам в удовольствии первых попыток самопознания. И напротив, дабы как можно меньше сожалеть о необходимости испытать скуку деревенского уединения, выбирайте для него такие моменты, когда Вам пришлось заскучать в городе; жизнь, даже чрезмерно заполненная заботами и забавами, все же оставляет слишком много подобного рода пустот, и такой способ заполнить их в первое время сделает Вас впоследствии вовсе к ним не чувствительной. Я не требую, чтобы Вы сразу же погрузились в глубокие размышления, я хочу лишь, чтобы Вы научились повергать душу в состояние покоя и сосредоточенности, которые дадут ей возможность взглянуть на самое себя, не отвлекаясь посторонним.

Чем же, спросите Вы, заняться мне в этом состоянии? Да ничем! Предоставьте дело тому естественному беспокойству, которое не замедлит заставить каждого человека в уединении заняться самоизучением, невзирая на любые помехи.

Не думаю, что результатом этого непременно будет душевная расслабленность, что у людей не найдется средства пробудить в себе

внутреннее чувство. Как согревают онемевшую часть тела с помощью легкого растирания, так душа, застывшая в долгом бездействии, оживает при нежном тепле умеренного движения; надо согреть ее приятными воспоминаниями, относящимися именно к ней, надо напомнить ей о привязанностях, для нее лестных, притом связанных не с ощущениями, а с отвлеченными чувствами, с духовными радостями. Если и было на свете такое презренное создание, которое в течение всей своей жизни не совершило ни одного поступка, давшего ему внутреннее удовлетворение, то такое существо, чьи мысли и чувства лишь отвращали бы его от него самого, не способно было бы к самопознанию и, не ведая, в чем состоит доброта, свойственная его натуре, поневоле осталось бы злым и вечно несчастным. Но я утверждаю, что нет на свете человека, столь испорченного, что он ни разу в жизни не поддался искушению сделать доброе дело, — искушение это столь естественно и приятно, что ему невозможно сопротивляться; стоит уступить ему хоть единожды — и невозможно забыть наслаждение, им доставленное. О дорогая Софи, сколько деяния Вашей жизни последуют за Вами в Ваше уединение, дабы скрасить Вам его! Мне не надобно долго искать, чтобы вспомнить некоторые из них. Подумайте о сердце, которое Вы уберегли для добродетели, подумайте обо мне, и Вам навсегда полюбится жизнь наедине с собою!

Вот Вам и средство: живя в свете, учиться любви к уединению, накапливать в душе приятные воспоминания, приберегать для себя свою собственную дружбу и готовить себе превосходнейшую компанию, состоящую из Вас самой, когда никто другой уже не надобен. Пока еще рано разъяснять Вам в подробностях, как именно нужно для этого поступать, — эти познания Вам только предстоит усвоить. Я знаю, не следует начинать трактат о морали с конца, ни давать в качестве первого предписания опыт того, что хотят преподать. Но еще раз повторяю: в каком бы состоянии ни находилась душа, всегда остается чувство удовлетворения от доброго поступка; оно никогда не забудется, служа первою наградою всем другим добродетелям; именно воспитав в себе это чувство, мы учимся любить себя и не скучать, оставаясь наедине с собою. Совершение добрых поступков естественно льстит самолюбию, создавая ощущение превосходства; благодаря этому ощущению о них вспоминают как о свидетельстве того, что среди стольких собственных забот нашлось время помочь в горестях ближнему. И это ощущение своего могущества производит именно то действие, что человеку становится приятнее жить и он гораздо охотнее остается наедине с собою. Вот и все, о чем я прошу Вас. Принарядитесь, дабы предстать перед зеркалом, и Вы будете глядеться в него куда охотнее. Старайтесь настраиваться на благо-

душный лад, оставаясь одна, и среди предметов Ваших удовольствий выбирайте всегда такие, коими можно наслаждаться, даже не имея их под рукой.

Знатная женщина уже по положению своему слишком часто окружена людьми; я хотел бы, чтобы Вы на какой-то срок могли отказываться от такого положения; это было бы еще одним средством научиться уединению, научиться беседовать с самой собою. В уединении откажитесь решительно от всей своей свиты: не берите с собою в деревню ни повара, ни дворецкого. Возьмите лакея и камеристку, да и тех много. Словом, не перевозите свою городскую жизнь в деревню, испытайте там истинно сельское уединенное существование. Но как быть с приличиями, спросите Вы? Ох уж эти мне проклятые приличия! Если Вы хотите без конца следовать им, Вам не надобен другой наставник. Или же выбирайте между приличиями и мудростью. Во втором случае ложитесь пораньше спать, утром поднимайтесь вместе с солнцем и природою, никаких переодеваний, никаких книг, ешьте простые блюда в те часы, когда едят их в народе, словом, будьте во всем сельскою жительницей. И ежели Вы полюбите этот образ жизни, Вы узнаете еще одно наслаждение, а коли он Вам наскучит, Вы с еще большим удовольствием вернетесь к тому, который вели раньше.

Более того, из тех кратких минут, кои Вы пожелаете провести в одиночестве, употребите часть на то, чтобы сделать остальные еще приятнее. Ваши долгие утра будут свободны от привычных занятий,— посвятите их деревенским прогулкам. Справляйтесь о больных, о бедных, старайтесь каждому оказать помощь, в коей он нуждается, и не думайте, что с них довольно Вашего кошелька, но подарите им свое время и заботы. Вмените себе в обязанность это занятие: оно благородно, после него на земле станет несколькими несчастными меньше, и, если намерения Ваши будут чисты, а заботы действенны, Вам понравится заниматься ими. Я знаю, что вначале тысячи препятствий помешают Вам: нечистые хижины, неотесанные крестьяне, нищенская утварь сперва внушат Вам отвращение. Но, входя к этим несчастным, скажите себе: «Я им сестра», и человечность восторжествует над гадливостью. Вы увидите в них лжецов, попрошайек, людей, полных пороков, кои угасят Ваш пыл, но вспомните о своих собственных недостатках, и Вы научитесь прощать окружающим; подумайте о том, что пороки, скрытые под благопристойной внешностью и украшенные воспитанием, опасны вдвойне. Особенно скука, сей тиран людей Вашего положения, заставляющий их столь дорого платить за бездействие, в чьи объятия Вы попадаете тем скорее, чем упорнее стараетесь ее избежать,— особенно эта скука отвратит Вас

сначала от благотворных трудов и, делая их для Вас непереносимыми, подскажет достаточно благовидных предлогов, чтобы избежать их. Вспомните тогда, что удовольствие от совершения добрых дел есть награда за них и что награды этой не получить, не заслужив ее. Ничто так не любезно нам, как добродетель, но созерцать ее дано только тем, кто обладает ею; когда ею хотят завладеть, подобно Протею из басни, она принимает тысячи отвратительных образов и являет свое истинное лицо лишь тому, кто, не устрашившись, не оставил своих намерений. Не поддавайтесь же софизмам скуки! Не отталкивайте от себя вещи, созданные для смягчения Вашего сердца, гоните прочь жестокую трусость, которая отвращает Ваш взор от людских страданий и подстрекает отказаться от их утешения. Не перекладывайте благородные эти заботы на Ваших наемников. Будьте уверены в том, что слуги всегда злоупотребляют добром своих господ, что они непременно изыщут тот или иной способ попользоваться хоть частью того, что проходит через их руки; они потребуют слишком дорогой благодарности за все то, что их хозяин делает безвозмездно. Считайте своим долгом всюду приносить вместе с Вашим присутствием подлинный интерес и сочувствие, коим оно придаст еще большую ценность. Пусть посещения Ваши никогда не остаются бесплодными! Пусть каждый вздрогнет от радости, увидя Вас, пусть всеобщие нескончаемые восхваления следуют за Вами по пятам, и скоро сладостное это сопровождение очарует Вашу душу и среди новых удовольствий, кои Вы научитесь ценить, Вы сможете даже иногда забыть о благе, Вами совершенном для других, но никогда уж не позабудете о благе, которое заслужили для самой себя.

[Письма о морали]
(с. 103—133)

«Письма о морали» написаны в 1758 г. Часть «Писем о морали» впервые опубликована в 1861 г., остальные — в 1888 г. На русском языке публикуются впервые. Перевод И. Я. Волевич по изданию: *Rousseau J.-J. Oeuvres complètes. T. IV.* — Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1969.

«Письма о морали» адресованы графине Элизабет-Софи д'Удето, которую Руссо любил. Письма в дальнейшем использованы были в ряде сочинений Руссо, в первую очередь в «Эмиле» и «Исповеди».

В «Письмах о морали» ставится философский вопрос о сущности человеческой личности. Этот вопрос, тесно связанный с педагогической проблематикой, Руссо решает с гуманистических позиций. Он провозглашает природную доброту человека, сообразно с чем и должно осуществляться воспитание. Взяв у картезианцев (Декарт, Боссюэ, отчасти Локк, Фенелон и др.) идеи о дуализме телесного и духовного в человеке, врожденности сознания, Руссо отказался от картезианской догмы об изначальной оформленности человеческого индивидуума. В руссоистской концепции личность располагает способностью противоречить самой себе в процессе мыслительной деятельности и тем самым прояснять противоречия, одновременно в них существуя. Руссо объявил сущностью человека свободу следовать или не подчиняться природе, оценив такую свободу одновременно как благо, выведшее личность из дикого состояния, и источник несчастий. По мнению Руссо, эта свобода превращает человека в «тирана самого себя и природы» (Руссо Ж.-Ж. Трактаты — М., 1969, с. 55).

1. Высказанная здесь мысль является исходной и в другой работе Руссо — «Рассуждении о происхождении и основах неравенства между людьми». См. предисловие (Руссо Ж.-Ж. Трактаты).
2. Имеется в виду Бюффон (1707—1788) — французский естествоиспытатель, долгое время занимавшийся вопросами популяций (см.: Бюффон. Естественная история, т. 3).
3. Речь идет о «Трактате об ощущениях» (1754) Кондильяка, где автор, рассуждая о развитии способностей, рисует образ статуи, наделенной чувствами.
4. Теренций. Самонстязатель, 77.